

Она, вероятно, с июня болталась здесь, уцепившись за железную полосу. Сейчас ее било, хлестало дождем, стремилось сбросить и погнать дальше. Подруги, вымокшие до нитки, были стертые асфальтом под ногами прохожих. Она из последнего держалась за нечаянную опору, подаренную ветром. Тем самым ветром, который ее теперь судил и мучил. Мужество слабого, хранящего жизнь... Мне-то что? Оно вне меня. Там, за окном, под дождем — на оконной решетке. Так, пух, тополиный обрывок...

Сюжет рассказа А. Гурулёва «Ель»¹ — это крупный план событий двух дней старой женщины, последних ее дней. Повествование в конце неожиданно расслаивается. Возникают одновременно два плана: земное и небесное, временное и вечное. Сквозь реальные события просвечивает высший смысл, надреальный, метафизический. А между тем, язык рассказа, сдержанный и лаконичный, отвлеченный от деталей, словно стертых в сознании главной героини, готовил к этому. Речь автора отрывает от земли, дает общий вид с неразличимыми мелочами, эмоциями, переживаниями, видимый, вероятно, отлетающей в небо душой. Такое слияние близкого и панорамного видения придает особую выразительность небольшому рассказу А. Гурулёва. Да и имя старой женщины — «Настасья» (Анастасия, от греч. *anastas* — «воскресший») — помогает чувству не от мира сего, задает нереальные координаты жизни главной героини.

Отстраненно перечисляются идущие друг за другом события: прибежала фельдшерица Валя, градусник ставила, дала горьких порошков, заходил Петрован, попросил стаканчик, потоптался у порога. «Сидит Настасья, слушает, как река играет, как вяжется к ели ветер, как стучат топорами Петровановы парни. Слушает свою болезнь». Старая женщина открыта внешнему миру — свету, звукам, шумам, открыта и в себя. Но впечатления лишь касаются ее души, почти не оставляя следа. Душа скользит по зримому и мыслимому, — прощается. Это замирание отмечено в перемещении внимания женщины с одного на другое, в неостановимом движении по воспринимаемому вокруг как смиренному принятию последних знаков жизни.

«Почему она промолчала, позволила Петровану срубить ель?» — спрашивают студенты на семинаре. Почему «высвеченная солнцем ель», «сытая, холеная», «новогодняя» досталась корыстному, лживому человеку? Кем для Настасьи был этот человек? «Молчит Настасья». Старая женщина, выбравшись за ворота на лавочку, любит строящейся напротив избой. «Рубят ее из бревен смолевых, желтых, солнечных. Машет Петрован блестящим топором. Гонит по бревну широкую, как ломоть масла, стружку». Радует Настасья этой рождающейся рядом жизни, напоенной светом. Ее высвеченная солнцем ель сопричастна этому миру, молодой семье, счастью, доброму дому. Петрован — часть рождающегося рядом мира, его творящая сила. Для укрепления добра и жизни отдана ее ель — прожитая счастли-

¹Гурулёв А. Ель : рассказ [Электронный ресурс] // Сибирь. — 2020. — № 6. — Электрон. версия печат. публ. — Журнальный мир : сайт. — Режим доступа : <http://xn--80alhdjhdexhy5hl.xn--p1ai/content/el>

вая жизнь, высвеченная солнцем. «Хороша лесина. Хоть на лодку, хоть...», — таит Петрован от Настасьи свои замыслы или сам еще не знает. Но трагизм в том, что мастер в живом дереве, метафоре чьей-то чисто прожитой жизни, — видит неживое, вещь. В этом горечь от молчаливого согласия Настасьи.

Одаривает Настасья не только Петрована. Она одаривает счастьем молодую семью в мысленном пожелании-утверждении: «Добрая изба у зуевского зятя будет», наделяя новый дом собственной солнечностью, радостью, крепостью и полнотой жизни («смолевых, солнечных», «широкую, как ломоть масла»). Душа Настасьи растворяется и в сострадании фельдшерицы Вальки, в ее плаче в трубку: «Да Валя это... — голос ее плачет». В ее кратком, сдавленном слезами: «Больной худо моей». В Валькином соучастии и родстве с судьбой другого — «моей», так называет она больную. Уход Настасьи из мира — это способность остаться в других, ощущаемых родными и близкими, в которых остается часть тебя. И каждому ею дано свое счастье, в своей мере, согласно его собственному достоинству.

И ель незримо остается с хозяйкой. Это тонко, хрупко отмечает автор. После поисков новой ели Настасья «еле приплелась домой». Выделенное началом предложения «еле» зарифмовано с «приплелась» и закрепляет корневую основу названия рассказа. Возможно, так получилось само собой, выражая звуком метафорический сплав «Настасья-ель». Зрелая красавица ель у дома, затем поиск молодой ели, долгий ее выбор соединяются в образе главной героини как зрелость и молодость, высвечивая в старости красоту, статность, благостный покой, полноту жизни. Скрытая под внешней болезненностью, красота собирается в образе ели как отражение состояния души Настасьи. Образ старой, больной женщины таит сердцевину — красоту и молодость. Эти качества и обнаруживаются в конце рассказа. «Настасья снова в лесу. Ель выбирает. Вместе с Алексеем. Алексей в мягких ичихах, красной рубашке, молодой и улыбочивый. Настасья тоже молода». Молодость является светоносным началом ее души. Невесомое «снова» запечатлевает созидательный принцип жизни Настасьи, возрождение, неизменное и неискоренимое стремление ее души к восстановлению разрушенного.

Особое значение метафоры-образа ели и в том, что «новогодняя», сытая, холеная, она — олицетворение ежегодного праздника завершения года. Краткое новогоднее счастье ели — в нескольких днях шумного, веселого праздника с подарками, знаменующего переход к новому этапу жизни. Надежды, ожидания, мечты сопутствуют празднику как обещание продолжения жизни. Содержащийся в звонком и радостном «новогодняя» смысл рождает издонное свечение и самого образа ели, и образа старой женщины. Ель хранит в себе солнце, свет, — метафоры счастливо прожитой жизни, сытость как наполненность, холеность как полученное благо. От полноты прожитого — и дар Настасьи. У хозяйки нет обиды за срубленную ель. Только дом ей теперь кажется старым, больным, обиженным. «Ничего, — шепчет. — Еще лучше посадим елку. На Теплом их пропасть...». Настасье известен источник блага, возможность доброго устройства жизни. И тревога в душе женщины возникает, скорее, от предошущения грани, перехода. Новая ель необходима ей как символ продолжения жизни, как следующий узелок жизненной нити.

Рассказ А. Гурулёва «Зависть»² опубликован в том же номере журнала «Сибирь». Наполненный красками, эмоциями, отношениями рассказ втягивает в свой

²Гурулёв А. Зависть : рассказ [Электронный ресурс] // Сибирь. — 2020. — № 6. — Электрон. версия печат. публ. — Журнальный мир : сайт. — Режим доступа : <http://xn--80alhdjhdxcxy5hl.xn--p1ai/content/el>

чувственный мир, дает ощущение реального присутствия на утиной охоте. Глубокой цвет запечатлевается движением («линяет, плотнеет, опускается ближе к земле»), появляются новые краски, они вступают во взаимодействие (белый наливается красной силой), красный заливает кромки облаков, розовой становится вода. Но в величественную палитру заката диссонансом врывается «черная штука» — зависть. Физика повествования — в изображении цветовых, зримых, звуковых, телесных, эмоциональных впечатлений. «Мурашки в застывших от напряжения ногах», «деревянеет шея от крика», «прыгает, качается мушка ружья, рвет воздух выстрелы, вскипает вода под дробовой осыпью» и многое другое, — все осязаемо. Звукопись речи помогает передать слышимость выстрелов, свист крыльев, плавность и легкость полета птиц, их касание крыльями воды, длительность ожидания: «глухо, раз за разом, бухнула крупнокалиберная двустволка», «в свисте косых крыльев, стремительные», «полетели утки, полетели», «летят низко, почти около воды», «и снова тягучее напряженное ожидание», собственный крик как «эхо гудит в хребтах», «и снова тишина, долгая томительная тишина». В звукописи обнаруживается родство с поэзией, передающей звуком чувство и смысл. Но метафизика рассказа все-таки возникает за осязаемой материей слова, в глубине... невысказанного — в столкновениях, противоречиях, разладах и том, что в них происходит.

Живой мир в меняющемся разноцветье запечатлевается душой, отзывчивой на красоту. При этом любованье миром поглощается охотничьей страстью, желанием быть первым, удачливым. «Во-он, далеко, над тихим морем летят они», — обращается главный герой ко мне, оправдывая мое присутствие около него на охоте. И потому рассказ — монолог для меня, с надеждой на понимание и прощение. Ощущения главного героя, чуткое наблюдение за миром и собой, за властью зависти, развитием из нее досады, злобы, мести, жестокости, исходит из осознания красоты окружающей природы. Из этого потаенного источника в душе появляется способность осознать себя, увидеть со стороны. Несомненна в этом и роль невидимого собеседника-читателя, к которому обращена исповедь, его предполагаемого внимания к сокровенным признаниям.

Жадность к жизни, стремление ухватить заглушает главное, и это видит читатель, — то, что уничтожается живое, страдающее. Мучителен эпизод с раненой уткой. «Нет уж, не выйдет. По неподвижной-то цели я не промахнусь. Поднимаю ружье и стреляю. Дробь хлещет по воде, где мгновение назад качалась утка. Но ее самой на том месте нет. Она исчезла, она нырнула за какие-то доли секунды до того, как по воде хлестнул дробовой снап». Неравен поединок вооруженного человека и утки-подранка. Ее желание жить контрастно стремлению человека убить ее ради тщеславия. Для охотника она — только предмет, вещь, дающий чувство превосходства над другими. Жизнь как ценность в природе, к которой, разумеется, принадлежит и сам человек, противостоит мелкому, низкому желанию. «Колотит в горло и ребра сердце, сохнет во рту. И я стреляю, стреляю». Исступленный, охотник убивает не только ослабевшую утку, хватающуюся за жизнь, но и человеческое в себе, утратив жалость и сострадание к слабому.

Жадное поглощение человеком впечатлений, ощущений, дичи — в итоге оставляет его обделенным. Главное упущено в нетерпении и погоне за трофеем. Даже последний патрон достается измученной птице. И охотнику приходится с досадой наблюдать, как уходит от него добыча. «А утки летят близко, крупные кряковые утки. Это самые лучшие, самые крупные утки из тех, что я видел за сегодняшний

вечер. И табунки летят часто». Природа дает урок жадному, завистливому человеку, развенчивая его желания, ставшие смыслом жизни. Она мудро улыбается на его потуги быть первым, быть победителем. «Просвистел крыльями и безбоязненно шлепнулся в воду, неподалеку от моего острова, одинокий селезень-гоголь. Гоголь, видимо, славно провел сегодня день. Сытый и довольный, он плескался на мелководье, поправлял перья, потягивался крыльями». Растроченные патроны становятся метафорой растроченных сил, напрасных ожиданий, упущенной возможности. Но важно, что это было понято человеком: «немного жалею о пустой от зависти стрельбе». Это мимолетное признание и обещает что-то большее, чем просто сожаление о расстрелянном патронташе. Осознание потерянного является внутренним стержнем исповеди.

Преображение в природе, ее красота, сила и полнота жизни, происходящие вокруг человека, прощение природой человека за жестокость, разрушение, готовят преобразование и его души, которое остается пока только ожиданием. Двойная фокусировка повествования снижает значимость переживаний человека, их эмоциональную напряженность, включенность в соперничество — до инородного среди гармонии и согласия. Истинное величие, словно говорит природа, — в красоте, которая вокруг. Способность воспринять ее и останавливает человека, поворачивая взгляд внутрь, чтобы наполнить себя этой вечной красотой. Попытки человека получить покой в душе пока безуспешны. «Я закуриваю, гляжу, как плывет и тает в чистом воздухе табачный дым и думаю, что мне хорошо и спокойно. И что я сделал свое дело: расстрелял патронташ, добыл утку, и вот теперь тихо и благостно смотрю на притихшее перед ночью море, на темнеющие облака, на размытый горизонт». Человеческие страсти растворяются, как табачный дым тает в чистом воздухе, что в малой метафоре открывает художественные достоинства гурулёвской прозы со сложными переплетениями реальности и скрытого смысла.

Композиционным центром в драматургии рассказа является диалог главного героя и его друга Валентина. Значимы координаты общения — на расстоянии, с помощью крика и междометий («что-то вроде «о-э», «о-э», — глухо кричу я»), с паузами и непонятыми ответами. Значимо и то, что главный герой находится на острове, далеко от Валентина. «Островок почти голый, но на одном его крутом склоне растет несколько разлапистых сосенок». С одной стороны, физическая отделенность, изолированность человека значит отрыв от людей. С другой, автономия позволяет человеку сосредоточиться на телесном, эмоциональном, нравственном состоянии, обратить взгляд в себя и попытаться разобраться в своем отношении к людям, другу. При этом нахождение на острове осуществлено осознанно, по собственному выбору («ведь вот же какое неудачное место я выбрал»), что фактически грозит разрывом, невозможностью услышать ответ. Присутствует и псевдокоммуникация — с намерением не быть услышанным: «рассчитывая на то, что Валентин не поймет, а кричать снова не решится». Интересно, что в какие-то моменты выстрел воспринимается главным героем как реплика: «Учить вас надо. И уже специально для Валентина и того, соседа на лесистой косе, стреляю из обоих стволов, раз за разом». В конце рассказа среди молчания выстрелы со стороны воспринимаются тоже как ответы. Подобные ситуации в художественном мире имеют, как минимум, тройной код: событийный, семиотический, метафорический. В целом, динамика общения сложна, пунктирна. В ней чередуются фразы, понятые ответы, затяжные паузы, неясные ответы: «он, тоскуя, кричит», «я жду завистливых криков Валентина, но он молчит», «кричу я», «но Валентин молчит»,

«— Есть? — кричу я снова», «Валентин что-то отвечает», «он молчал». Крик, молчание, опять крик. Мотив крика, отсутствия или непонятости ответа с ключевым рефреном — «я не могу разобрать его слов», «и опять не понять ответа» — обнаруживают значение зова о помощи, который не понят или не принят адресатом. Крик одного и молчание другого метафоричны. Скрытое значение такого отдаленного и странного общения — в отчуждении человека от людей, в распаде связей, угасании потребности быть рядом.

Время в рассказе дробится, как дробится мстительностью, жестокостью душа человека. То оно замедляется, то сжимается до мгновения, осколков целого. Мгновения, доли секунды и «долгие» секунды сконцентрированы в сцене добывания утки-подранка. Они — в краткости, резкости действий человека и их последствия: «дробь хлещет», «дробь рябит», «вгоняю», «прыгает мушка ружья», «рвут воздух выстрелы», «вскипает вода». Эти мгновения — та доля жизни, которую отмерил человек ослабевшей утке. По ходу рассказа время пульсирует: «и снова тишина», «проходит напряжение», «и снова тягучее напряженное ожидание». Течение времени меняется, словно по произволу кинорежиссера: «ко мне, как во сне, как в замедленном кино, плыла по синему воздуху утиная стая». Замедленность кадра, видимость, но не слышимость звука, обостряют кажимость и произвол действий человека среди величия окружающей природы. Скачкообразное время человека конфликтно природному времени — тихому, неторопливому, подвластному высшему закону, где каждой смене и движению определен свой черед. Этот контраст обостряет впечатление призрачности, нелепости притязаний человека на первенство.

В рассказе «Зависть» метафоричен сам образ утиной охоты, который не может быть связан какими-то дальними отзвуками с вампиловской пьесой. Неуловимые ассоциации остаются тайной произведения. Но можно сказать, что и в пьесе, и в рассказе значим образ удачливой охоты. У Вампилова Зилов не убил ни одной утки, и образ охоты в пьесе «Утиная охота» имеет трансцендентный характер как пространство вневременной красоты, чистоты и подлинности бытия. В рассказе А. Гурулёва утиная охота развернута в текущее событие, полное деталей, действий, материи — осязаемой, ощущаемой, слышимой, видимой. Пространство высшей красоты в рассказе становится рингом для состязания в превосходстве, местом мстительности, жестокости. Для главного героя оно стало еще и местом пытки — себя, утки-подранка. В этом смысле человек и раненая утка едины, оба страдают. Он — от собственной страсти, разрушающей душу, она — от смертельных ран, нанесенных человеком. Желание главного героя «спокойно, умиротворенно смотреть на вечернее море, на пролетающих уток» становится иллюзией, обманом. Жизнь продолжается как пытка: «на этом пытка не кончилась». Мучаясь сам, охотник мучает ожившую после выстрела птицу.

Рассказы А. Гурулёва «Ель» и «Зависть» идут парой. Они логичны в отражении диалектики жизни, дополняют друг друга. В одном — полнота бытия и самоотречение, щедрое дарение, продолжение себя в фельдшерице Вальке, Петроване, в новой избе зувского зятя, новой елочке, знаменующей иное бытие — за пределами дома, деревни, земли. В другом — жадность к жизни, потребность чувства превосходства, отношение к миру как недополученному дару, где за чувством обделённости, нехватки стоит желание взять чужое. Сюжет «Зависти» держится страстью главного героя жить и получать все, что якобы незаслуженно присвоили другие. В первом рассказе — отдаление и уход от земного, во втором — ощу-

щение бытия как возможности иметь. Уничтожение в себе чувства сострадания тянет за собой утрату единства с окружающим. Остров главного героя контрастен растворению себя в мире главной героини другого рассказа. Для нее мир велик и разнообразен. Настасья любит смолистыми, солнечными бревнами строящейся напротив избы, слушает реку, радуется ельнику с обилием «лучших» елочек, выбирая, «трогает колючие лапы елочек», словно руки людей. Любованию миром, сорадование ему выдает чувство любви, согласия с ним, душевное продолжение себя в других.

Но осознанность, исповедальность «Зависти» — важная ступень в движении души к высшему, постижению смысла жизни. «Зависть» обещает, готовит жертвенное дарение женщины-ели себя в рассказе «Ель». Оба рассказа А. Гурулёва перерастают сюжеты, их событийную ограниченность, становятся притчами, развернутыми метафорами. Сквозь видимость происходящего просвечивает сущностное — то главное, что направляет человека, становится смыслом его земного существования.